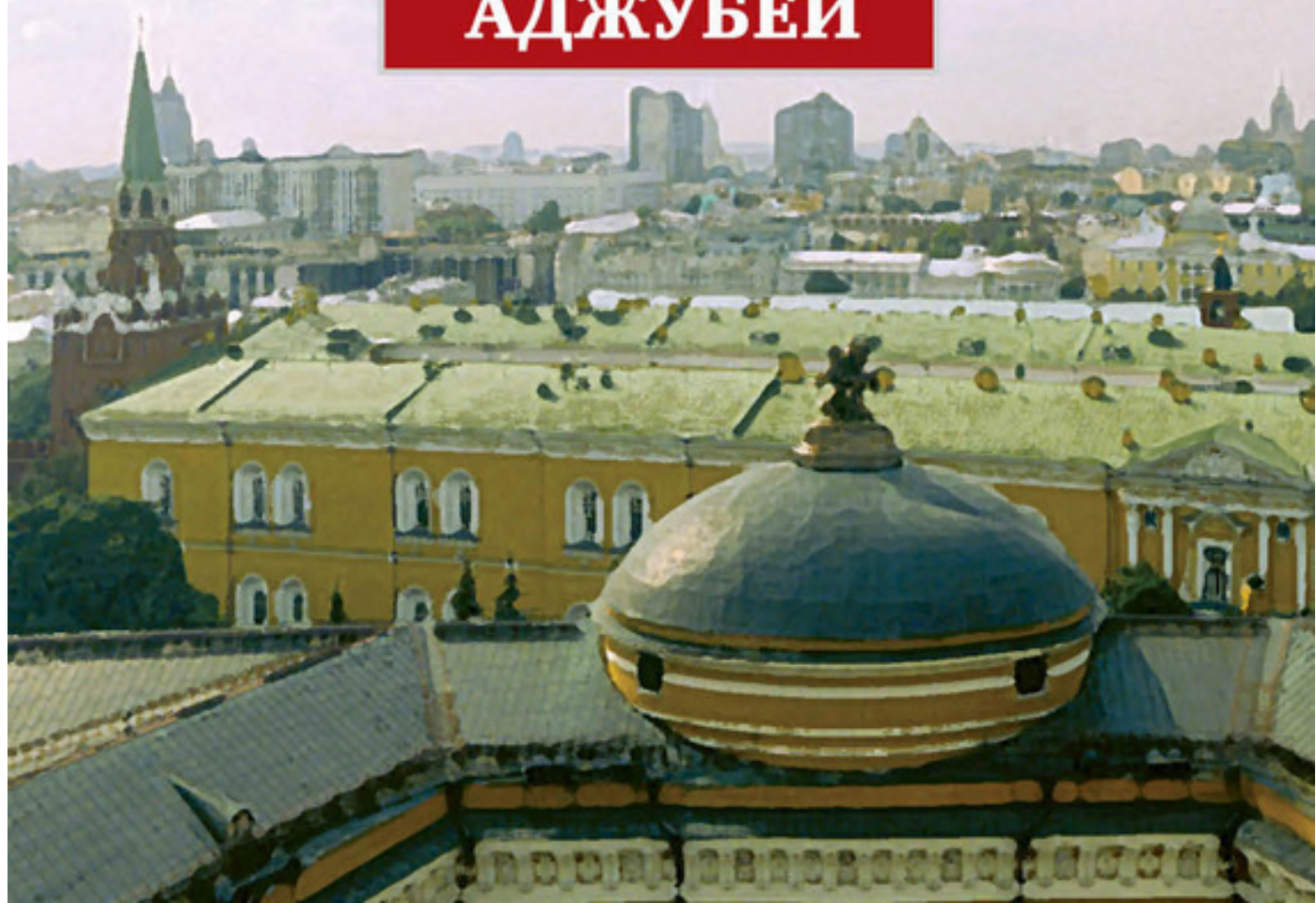




НАСЛЕДИЕ КРЕМЛЁВСКИХ  
ВОЖДЕЙ

# Я БЫЛ ЗЯТЕМ ХРУЩЁВА

АЛЕКСЕЙ  
АДЖУБЕЙ



Наследие кремлевских вождей

Алексей Аджубей

**Я был зятем Хрущева**

«Алисторус»

2014

УДК 94  
ББК 66.3(2Рос)8

**Аджубей А. И.**

Я был зятем Хрущева / А. И. Аджубей — «Алисторус»,  
2014 — (Наследие кремлевских вождей)

ISBN 978-5-4438-0648-8

— ...Я не писал политическую биографию Хрущева — это занятие для историков. Хорошо, что такая биография при жизни Никиты Сергеевича у нас в стране не появилась — вряд ли она была бы правдивой. Я не вступаю в спор ни с кем, ибо каждый имеет право на собственную точку зрения. Мера порядочности и ответственности тоже сугубо индивидуальна. Когда думал над тем, как выстраивать повествование о теперь уже далеких годах, мне показалось важным не столько следовать хронологическими ступенями или пытаться чертить точную схему событий, во всем их объеме и разнообразии, — да мне и не под силу такая работа, — сколько составить картину из штрихов и фактических зарисовок о людях, событиях, о радостном и горестном, не только о Хрущеве... Алексей Аджубей, муж Рады Никитичны Хрущевой, главный редактор газет «Комсомольская правда» и «Известия». Мемуары о своем тесте и его нелегком времени Аджубей решился опубликовать только в разгар перестройки.

УДК 94  
ББК 66.3(2Рос)8

ISBN 978-5-4438-0648-8

© Аджубей А. И., 2014  
© Алисторус, 2014

## Содержание

Предварение	6
Рядом со Сталиным	13
Конец ознакомительного фрагмента.	27

# **Алексей Аджубей**

## **Я был зятем Хрущева**

© Аджубей А. И., 2014

© ООО «Издательство Алгоритм», 2014

\* \* \*

*Посвящаю моей жене Раде*

## Предварение

11 сентября 1971 года в Москве, в Кремлевской больнице, не успев сказать близким прощальных слов, умер Никита Сергеевич Хрущев – персональный пенсионер союзного значения. В семье знали, как тяжело болел в последние месяцы Никита Сергеевич. Но смерть всегда неожиданна. Через три дня появилось в газете официальное сообщение в несколько строк, набранных самым мелким шрифтом, – подводили черту под историей жизни человека и политического деятеля, с именем которого связаны драматические события, потрясшие не только нашу страну.

Брежнев и его приближенные могли вздохнуть с облегчением. Даже отставной Хрущев, сломленный угрозами, оставался опасным, нежелательным свидетелем минувших и текущих дней. Он хорошо знал тех, кто сменил его, и бог знает, о чем он думал в последние годы жизни, как оценивал своих недавних коллег, что мог поведать о них и о себе.

Незадолго до кончины, диктуя воспоминания, Никита Сергеевич заметил: «Сейчас я, как вольный казак, ничем не занят. Удел пенсионера – доживать свой век... Сейчас я имею возможность оглянуться, выразить более смело свои соображения и высказаться о недостатках».

Смерть Хрущева, казалось, снимала явные и тайные опасения. Еще одна глава истории партии и государства, на этот раз связанная с именем Хрущева, закончилась.

Уже в первые годы правления Генерального секретаря Брежнева антихрущевские страсти зашли так далеко, что в открытую говорили и писали о необходимости отменить решение XX съезда партии о культе личности Сталина. Брежнев, хитрый и ловкий аппаратчик, несколько остудил пыл ближайших советчиков. Он бросил фразу: «Я участвовал в работе XX съезда, голосовал за его решения и не отменю их!» Эти слова, как показала действительность, предназначались скорее на экспорт. Фигура Сталина вновь поднялась над страной, сталинские клеветы вздохнули свободно, жизнь возвращалась к прежним берегам.

В эту пору «сталинского ренессанса» случилось событие, вернувшее на короткое время имя Хрущева из небытия. В Соединенных Штатах Америки вышла книга «Хрущев вспоминает» – два увесистых тома, с большим количеством фотографий, многие из которых никогда не видели даже в его семье. Никита Сергеевич, вызванный в ЦК после появления книги, где с ним состоялся резкий разговор, утверждал: он никому не передавал своих материалов.

Однако факт этой публикации давал возможность «проучить» Хрущева, добиться от него прекращения работы. Нажимали не только на Никиту Сергеевича. В один и тот же день и час в ЦК вызвали Хрущева, его сына Сергея и меня. В разные кабинеты, на разных этажах: Никиту Сергеевича на «верхний», а нас пониже. Сергея предупредили о переводе из Конструкторского бюро академика В. Н. Челомея в несекретный институт, который не имел отношения к ракетной технике, а меня с семьей отсылали в областную газету: сначала предложили поехать в Благовещенск-на-Амуре, поближе к китайской границе, а затем – в Тамбов. Я наотрез отказался куда-либо уезжать. К этому времени я уже около пяти лет работал в журнале «Советский Союз».

Вечером, узнав о проработке Никиты Сергеевича в ЦК, мы поняли, что тройное давление направлялось к одной цели: Хрущев должен замолчать!

И Хрущев прекратил работу над своими воспоминаниями...

В конце лета 1988 года к нам в дом пришла американская супружеская пара – Грегори Фрейдин и Виктория Боннел. В Москве они были в командировке, работали в библиотеках, архивах. Преподаватели Калифорнийского университета интересовались нашей историей и литературой: Гриша – поэзией Мандельштама, а Вика – русским революционным движением. Оба они хорошо знали русский язык, и разговор касался самых различных тем. Наконец, дошли до главного. Моя жена спросила, нет ли какой-либо особой причины, вызвавшей жела-

ние побывать у нас? Ответил Гриша: «Хотелось рассказать вам, что я был переводчиком второго тома воспоминаний Никиты Сергеевича, часами слушал запись его голоса, вникал в суть, улавливал интонации. Мой визит – дань уважения вашему отцу. Надеюсь, его размышления будут опубликованы на Родине, ведь Хрущев, конечно, хотел этого. Его диктовка – уникальный политический и человеческий документ, редкий для нашего сложного времени. В нем не чувствуется ни субъективных, ни объективных форм давления, и он привлекает своей искренностью».

Наш гость рассказал немало подробностей. Голос звучал на фоне птичьего щебета, иногда слышался шум самолетных двигателей: диктовал Никита Сергеевич на даче. Здесь он жил практически безвыездно, а в московской квартире в Староконюшенном переулке, близ старого Арбата, за все отставные годы переночевал всего несколько раз. Но главное, на что обратил внимание переводчик, – странные пробелы, паузы в диктовке Хрущева. Грегори Фрейдин считал их неслучайными. Пленка, оказавшаяся в Америке, была предварительно цензурирована. Идет рассказ о каком-либо эпизоде, и там, где по смыслу ждешь деталей, перечисления имен, звук исчезает на полуслове. Минута за минутой идет пустая пленка, а потом голос Хрущева возникает вновь.

С пленки текст перепечатали, перевели на английский язык, несколько сократили. В 1971 году вышел первый том, в 1974-м – второй.

Книга издана на 16 языках, и размышления Хрущева, политика и человека, итожившего пережитое, стали достоянием широкой мировой общественности. Пленки и другие материалы переданы на хранение в фонд Гарримана. Они доступны, с ними продолжают работать все, кого интересует советская история. И хотя до сих пор остаются таинственными обстоятельства «переброски» пленок Хрущева в Америку, хотя сам факт выхода мемуаров за рубежом укоротил жизнь Никиты Сергеевича, не умалишь и другого – книга существует...

Хрущев в руках ее никогда не держал.

Я вошел в семью Хрущева сорок лет назад, в 1949 году, женившись на его дочери Раде. Ей было двадцать, мне двадцать пять лет. Мы учились в Московском университете, готовились стать журналистами. По молодости не заглядывали далеко вперед. Мог ли я предположить, что из молодежной «Комсомольской правды» перейду в солидную, официальную газету «Известия», на должность главного редактора?! И уже вовсе нелепой показалась бы мне мысль о возможной работе вблизи Никиты Сергеевича.

Во время частых поездок Хрущева по стране и за границу его обычно сопровождала небольшая группа журналистов. В Москве, когда возникала необходимость в подготовке и редактировании речей Никиты Сергеевича, обработке его диктовок, к помощникам присоединялись секретари ЦК партии Ю. В. Андропов, Л. Ф. Ильичев, В. И. Поляков, политический обозреватель «Правды» Г. А. Жуков, заведующий отделом науки ЦК В. А. Кириллин, некоторые другие товарищи. Был среди них и я.

Иногда этой небольшой рабочей «команде» приписывалось влияние, чуть ли не выше органов партии и правительства. В действительности же было далеко не так. Выполняя поручение Никиты Сергеевича, каждый понимал, что «пробивать» свои вопросы, пользуясь близостью к «первому», – занятие безнадежное. Если кто-нибудь и решался затеять нужный ему разговор, Хрущев обычно прерывал: «Напишите в ЦК».

Само собой разумелось, что вклад каждого в общую работу не выпячивался, дело было ответственное, общее и в известной мере деликатное.

Я видел Никиту Сергеевича в семье, на отдыхе. Теперь у меня появилась возможность наблюдать его в работе в самых разных обстоятельствах...

Отставка Хрущева мгновенно отразилась и на моей карьере журналиста. Сказать по правде, я понимал, что так случится, и не воспринял это трагически. «Все к лучшему в этом лучшем из миров...» – утешал я себя, вспоминая Вольтера.

В последний раз я исполнил обязанности главного редактора газеты «Известия» 13 октября 1964 года.

В этот день в Москву с официальным визитом прилетел президент Кубы Освальдо Дортикос.

В полдень самолет, на борту которого находился президент Кубы, приближался к Москве. По протоколу, как главный редактор газеты «Известия», я должен был быть среди тех, кто встречает гостя. Ехать не хотелось. К этому времени уже не первый час шло заседание Президиума ЦК партии. Смещали Хрущева. Я знал, что никакой обратный ход невозможен. По-видимому, задержка происходила из-за каких-то деталей. Позвонил в МИД заведующему отделом печати Леониду Замятину. Он, конечно, догадывался о том, что происходит. Спросил его: «Стоит ли мне ехать на аэродром?» Он ответил: «Обязательно, я тебя прихвачу!»

Мы были с Замятиным в добрых отношениях, и его слова приободрили. «В самом деле, отчего мне заранее изображать обиженного?».

На аэродроме из большого начальства еще никого не было. Замятин исчез, я встал чуть в стороне от главного прохода, чтобы не искушать тех, кто предпочтет не встречаться со мной, ведь я становился опальным.

Самолет с президентом на борту уже минут сорок барражировал над Шереметьевом. Летчики, да и президент, видимо, не понимали, почему их держат в воздухе. Наконец появилась первая машина. Приехал Геннадий Иванович Воронов, член Президиума ЦК, Председатель Совета Министров РСФСР. Вошел в зал. Демонстративно подошел ко мне, пожал руку. Через минуту хлопнули дверцы еще одного лимузина. Появился Подгорный. Плащ нараспашку. В руке сигарета. Возбужден. Лицо свекольного цвета. Громко бросил: «Сажайте самолет!» Двигаясь к выходу на летное поле, произнес: «Все, доломали Хрущева!» Несколько человек подобострастно ловили на ходу, пожимали его руку. Выстраивался хвост новоприближенцев.

Власть сменилась.

Я видел, как Подгорный обнял Дортикоса, затем отвел его от толпы встречающих и что-то зашептал на ухо. Теперь и Дортикос был в курсе дела. Кавалькада машин двинулась в город. На холодном ветру плескались советские и кубинские флаги. Прохожие останавливались, провозжая взглядами черную ленту автомобилей.

Хорошо, что я попросил своего известинского шофера приехать за мной. Замятин так и не появился.

Едва я вернулся в редакцию, как последовал звонок секретаря ЦК партии Л. Ф. Ильичева, ведавшего идеологией. Он попросил немедленно приехать к нему. Нетрудно было догадаться, о чем пойдет речь. Впрочем, беседа заняла всего несколько минут. Ни тени смущения не промелькнуло на лице Ильичева, когда он сообщил мне, что я освобожден от обязанностей главного редактора «Известий». Я ни о чем не спрашивал, не требовал объяснений, понимая, что Ильичеву не до меня. Его собственная судьба висела на волоске: как-никак он был явным выдвиженцем Хрущева и со страхом думал о реакции Суслова по поводу собственной персоны.

Кстати, Ильичев вскоре был отправлен в МИД на вполне приличную должность заместителя министра (до ЦК он заведовал отделом печати МИДа), где и проработал более двадцати «застойных» лет. Такие «пароходы» тонут редко: у них многослойная обшивка корпуса, и если пробоина не глубока, подлатавшись, они вновь пускаются в плавание, хотя бы каботажное.

Вернулся в газету. Странное чувство облегчения овладело мной. Я еще не знал никаких подробностей, когда мне позвонила жена и передала разговор с отцом. Он сказал, что вопрос с ним решен. Подбодрил тем, что на заседании Президиума ЦК отметили рост подписки на газету «Известия» (с 400 тысяч в 1959 году до почти 9 миллионов на октябрь 1964 года) и что мне, как было сказано, «подыщут соответствующее журналистское занятие».

Мои заместители, Гребнев и Ошеверов, видимо, о чем-то догадывались. Я не стал томить их и коротко рассказал о случившемся. Сидели в кабинете втроем. Телефон молчал, хотя было



самое горячее газетное время. Вот-вот должно было появиться сообщение ТАСС о моем освобождении. Я поручил подписать газету Ошеверову. К этому времени мы проработали с ним вместе почти пятнадцать лет, начинали еще в «Комсомольской правде». Алексея Гребнева я знал больше четырех лет, только по «Известиям»: он работал заместителем у прежнего главного редактора, Губина, и остался на этом посту, когда я пришел в газету.

Мизансцена, возникшая после моего сообщения о визите в ЦК, отчетлива в моей памяти. Постепенно, даже не осознав этого, замы отвели от меня глаза, потом перестали смотреть друг на друга, как бы боясь выдать нечто, таившееся в их душах и, возможно, видимое со стороны. Я понял, что им тяжело, что они растеряны и обескуражены, и, не испытывая моих коллег дольше, попрощался. Попросил своего помощника Артура Поднека оформить приказ о моем уходе в очередной отпуск и получить отпускные. Пятьсот рублей, за вычетом подоходного налога и прочих удержаний. Поднеку я сказал, что все вопросы – завтра.

Остался в кабинете один. Вот и пришел момент прощания. В этой большой комнате на пятом этаже известинского здания я проводил времени куда больше, чем дома. До мелочей был знаком пейзаж, видный сквозь круглые окна, расположенные почти под потолком, – крыши домов на площади Пушкина. Кабинет был просторен. Никакой пышной мебели, книжных шкафов с декоративным рядом книг классиков марксизма-ленинизма, которых в подобных кабинетах никто не читает. Не было в нем и портретов руководителей. Большой рабочий стол без ящиков, еще больший – для заседаний редакционной коллегии. На одной из стен – монтаж из нескольких фотографий: Маяковский, Горький, Барбюс, Шолохов и кто-то еще – теперь не помню. Такой интерьер мне нравился.

Почему-то вспомнилось, как в конце 1959 года сюда ворвался сухонький, небольшого роста человек и стал взволнованно говорить, горячась и размахивая руками.

Это был один из архитекторов здания «Известий», Михаил Григорьевич Бархин. Он проектировал здание вместе с отцом – известным советским зодчим Григорием Борисовичем Бархиным – и был очень обеспокоен, как бы во время капитального ремонта мы не нарушили стилистику и облик их детища, ведь это – образец конструктивизма конца 20-х годов. Я успокоил его. Никаких наружных работ проводить не предполагалось, крушили и перестраивали только «начинку» здания. К этому времени я дважды побывал в Соединенных Штатах Америки, видел, как организован труд журналистов в тамошних газетах, и пытался воспользоваться их опытом. Вместо крошечных кабинетов, в которых, как в норах, прятались репортеры, сделали несколько общих залов, где каждый сотрудник был на виду, запаслись новой оргтехникой, поощряли тех, кто сам пользуется пишущей машинкой, даже ввели курсы машинописи. По моде тех лет окрасили стены в разные цвета, чтобы веселее работалось.

И вот теперь все, что связывало меня с этим домом, с коллегами, пришло к финалу. Я понимал, конечно, что найдется немало людей, которые расценят мое спешное увольнение по-своему: Аджубей занимал свой пост по протекции, его карьера зависела от родственных связей. Честно сказать, сам я так не думал: кое-что смог и успел сделать в журналистике.

На следующий день, 14 октября, на Пленуме ЦК, освободившем Хрущева, Брежнев удостоил меня короткой реплики. Суть ее сводилась к тому, что мне будет предоставлена возможность работать по специальности...

Правда, очень скоро я понял (и это подтвердили последующие десятилетия), как легко и эффектно бросает Брежнев подобные фразы, как старается выглядеть гуманным и внимательным. Сидевшие на просцениуме Свердловского зала Кремля члены Президиума ЦК, поддержавшие Брежнева в его заговоре против Хрущева, не знали, конечно, что в эти же минуты решается их собственная судьба и очень скоро один за другим они, как и Хрущев, будут отправлены на пенсию, посланы за границу, а то и вовсе займут второстепенные должности на дальних заводах и фабриках. Сделает это Брежнев тихо, без скандалов, по-семейному, как бы любя. Всему этому еще предстояло быть. Как выразился известный журналист Александр Бовин,

советник Брежнева и составитель его речей, сам испытывавший на себе капризную переменную брежневской любви: Леонид Ильич обладал «чувством власти». Я бы уточнил: властолюбием. Интрига составляла самую сильную, хоть и не очень видимую часть натуры этого человека, ставшего в октябре 1964 года главой партии. Позже станет ясно, что Брежнев старался уходить от решения острых вопросов, откладывая «на потом».

Через месяц, в ноябре, состоялся еще один Пленум ЦК. Брежнев был объявлен Генеральным секретарем (Хрущев назывался Первым). Так был заложен кирпичик в фундамент того здания, которое выстраивалось Брежневым и для Брежнева.

На этом Пленуме в спешном порядке отменили многие хрущевские новации. Ликвидировали совнархозы, возродили министерства в их прежнем «классическом» виде, отменили деление обкомов на сельский и промышленный. Все эти вопросы никак не обсуждались, никто не выступал в прениях. Вел себя Брежнев на заседании пленума легко, весело, подчеркивая всем своим видом: ну вот, друзья, мы возвращаемся к стабильному упорядоченному образу жизни, работы; все хорошо, давайте жить дружно!

Пленум уже закончился, все встали, и тут к Брежневу обратился Суслов. Сказал ему несколько фраз вполголоса. «Одну минутку, товарищи, – усадил всех Генеральный. – Есть предложение вывести Аджубея из состава ЦК, поскольку он уже не является главным редактором газеты «Известия»».

Все последующее заняло не более получаса. Перед голосованием я попросил слова. После маленькой заминки Брежнев сказал: «Кстати, Аджубей проявил недисциплинированность, опоздал на заседание».

Не знаю, зачем ему понадобилась неправда. Просто поначалу меня и не собирались приглашать в этот зал, потом передумали. Я извинился перед членами ЦК за поздний приход, сказал, отчего так получилось, коротко доложил о своем пути в журналистике, о том, что смог и чего не смог сделать в газете. Обернулся к Суслову: «По-видимому, вы лучше знаете, кто и в какой мере повинен в раздувании культа личности Хрущева. Газету «Известия» вряд ли можно упрекнуть в нескритичности, беззубости, и я не могу принять подобные утверждения только на свой счет. Тут каждый должен отвечать за себя».

В зале была абсолютная тишина. Я разглядывал лица. Жесткие, смущенные, испуганные, безразличные...

Пока готовили бюллетени для голосования, я стоял на маленькой площадке лестницы. Курил. Подошел министр тяжелого и транспортного машиностроения Кожевников. Мы жили с ним в одном доме. Спросил, сколько мне лет. «Сорок?» Мне послышалось в его тоне успокоение: дескать, все перемелется, все еще впереди...

В сорок у человека действительно есть некоторый запас времени. Выйдя из Кремля, я прежде всего подумал, что теперь мне необходимо искать работу...

В конце ноября позвонили Хрущеву, приглашали явиться в ЦК, чтобы оговорить его новый статус. Как рассказывал Анастас Иванович Микоян, он до последней минуты боролся за то, чтобы смещение Хрущева выглядело хотя бы «цивилизованно». По его настоянию, поначалу было решено не выводить Никиту Сергеевича из состава Президиума Верховного Совета СССР. Микоян говорил, что партии целесообразно по достоинству оценить то положительное, что сумел сделать Никита Сергеевич, и отметить это в соответствующем сообщении наряду с недостатками. Видимо, верх взяли иные соображения. Во всяком случае, чем дальше отодвигался визит Хрущева в ЦК – а в октябре он тяжело заболел гриппом и не смог явиться по вызову, – тем все сильнее и резче обозначалось раздражение против Хрущева, урезались его пенсионные блага, забывались данные обещания о сохранении квартиры, дачи и т. д. Когда Никита Сергеевич после болезни получил аудиенцию, на него уже кричали. И, как ни странно, даже Косыгин. Он заявил примерно следующее: «Если бы вы появились сейчас на улице, вас бы растерзали». Хрущев с горечью вспоминал эту фразу. Он относился к Алексею Николае-

вичу с уважением. Именно его считал самым подготовленным и опытным человеком в том руководстве, которое сложилось после октябрьского Пленума ЦК. Кстати, очень скоро стало видно, как не «вписывается» Косыгин, его жизненные установки в брежневский стиль.

Хрущев не мог уже защищать свое достоинство. В эти первые недели отставки он очень сдал. Нина Петровна с болью говорила, что никогда не видела Никиту Сергеевича таким раздавленным и приниженным. Случалось, он плакал. Как знать, может быть, боялся за себя, за семью. Его беспокоило и то, как сумеет Нина Петровна распорядиться теми четырьмястами рублями пенсии, которые ему положили. Она его успокаивала. Этих денег хватало с избытком, так как потребности Никиты Сергеевича и Нины Петровны всегда были очень скромными.

Нину Петровну попросили освободить дачу. Хрущевым отвели деревянный дом в Петрово-Дальнем – поселке в 30 километрах от Москвы. Предложили переехать из правительственного особняка на Ленинских горах, предоставив квартиру в Староконюшенном переулке. Новая охрана, приставленная к Хрущеву, подчеркивала иные, чем прежде, обязанности, главной из которых становилось стеречь.

Нет, конечно, это не был домашний арест, однако изоляция Никиты Сергеевича выстраивалась довольно плотно. Только спустя какое-то время он, придя в себя, стал более активно противостоять напористым требованиям своих охранников сообщать заранее, куда и по какому поводу он хочет поехать.

Все было в порядке вещей. В нашей истории борьба за власть, как известно, принимала куда более жесткие варианты.

Вполне возможно, что Хрущев в ту пору вспомнил телефонный звонок к нему Кагановича в июне 1957-го, разделившего участь разбитых на Пленуме фракционеров – Молотова, Маленкова, Ворошилова и других. Он просил не поступить с ним так, как поступал в подобных ситуациях Сталин. Проще говоря, не уничтожать.

После нескольких недель неопределенности наконец-то нашелся редактор, который соглашался взять меня на работу. Под разными предложениями отказывались многие. Главный редактор журнала «Советский Союз» Н. Грибачев, побеседовав с членами редколлегии, сказал: «Пусть приходит». Так я стал заведовать отделом публицистики данного издания, выходящего на 20 языках в ста странах мира.

«Заведовать» – это, пожалуй, громко сказано. Весь штат отдела состоял... из меня одного. Впрочем, такой вариант в ту пору меня вполне устраивал. Очень скоро Грибачев предложил взять псевдоним. Так я стал А. Родионовым.

Однако «распознали» и Родионова. Пришлось уйти в «подполье». Договоры на те или иные журналистские работы заключали мои друзья, я выполнял заказ, они получали деньги и отдавали мне. Непростое занятие помогать таким способом своему собрату, и я очень ценю тех, кто шел на подобный риск. В это время я написал сценарии к нескольким документальным фильмам – об академиках Ландау, Прохорове, Несмеянове. Союз журналистов, к созданию которого я имел некоторое отношение в 1958 году, не выступил в защиту моих профессиональных прав, впрочем, как и других журналистов.

Однажды я чуть было не провалил «секретную операцию». Картина об академике Ландау «Штрихи к портрету» была смонтирована, но актер, который должен был читать дикторский текст, на запись не явился. Поздно ночью я решил сам озвучить фильм. Редактор Галина Кемарская согласилась: «горел» план. Картина вышла, но нашлись доносчики, узнавшие мой голос, и факт этот стал предметом строгого разбирательства. Работать в документальном кинематографе стало невозможно.

Постепенно я отучился писать от своего имени. Не заготавливал записок в «стол», про запас, в надежде, что наступит время, когда они смогут понадобиться. Завидовал тем, кто способен на такой гражданский подвиг. Знал, как тяжки их судьбы, как жестко обходились с неугодными литераторами, отправляя их по диссидентским маршрутам.

И червь сомнения – да нужно ли кому-нибудь мое писание? – и страх за семью, детей, и внутренний цензор – все вместе взятое никак не вдохновляло.

Если бы не апрель 1985 года, этой книги не существовало бы. Когда мое имя появилось в журнале «Знамя», читательские письма показали, что из людской памяти ничто не уходит и при всей разноречивости оценок тех или иных лет они займут в нашей истории определенное место.

Я не писал политическую биографию Хрущева – это занятие для историков. Хорошо, что такая биография при жизни Никиты Сергеевича у нас в стране не появилась: вряд ли она была бы правдивой. За рубежом интерес к фигуре Хрущева восполнялся немалым количеством разных исследований – от серьезных до спекулятивных. Наконец-то имя Хрущева замелькало и на страницах наших газет и журналов. Я не вступаю в спор ни с кем, ибо каждый имеет право на собственную точку зрения. Мера порядочности и ответственности тоже сугубо индивидуальна. Когда думал над тем, как выстраивать повествование о теперь уже далеких годах, мне показалось важным не столько следовать хронологическими ступенями или пытаться чертить точную схему событий во всем их объеме и разнообразии – да мне и не под силу такая работа, – сколько составить картину из штрихов и фактических зарисовок о людях, событиях, о радостном и горестном, не только о Хрущеве, в семье которого прошла вся моя сознательная жизнь, но и о наших с женой друзьях, товарищах по работе, людях, близких нам по духу и убеждениям. Мы с Радой никогда не отмечали юбилеев по случаю «летия» совместной жизни. Если доживем, может быть, отметим золотую свадьбу, до нее – всего ничего, какой-нибудь десяток лет. Но не в юбилейных торжествах крепость и смысл верности. В этих записках немалый труд моей жены, и я благодарен ей за поддержку.

## Рядом со Сталиным

### Возвращение имен

Новый, 1966 год мы с женой встречали у близких друзей. Окна их квартиры выходят на Фрунзенскую набережную Москвы-реки. Перед нами открывалась панорама заснеженных ледяных аллей Парка культуры имени Горького, по которым скользили фигурки конькобежцев. Гирлянда разноцветных лампочек, светящийся круг «чертова колеса»... Все это буйство красок и света обрамлял не по-городскому темный Нескучный сад. И то, и другое – свет и чернота, – как сказка о добре и зле, вполне соответствовало нашим настроениям в ожидании двенадцатого удара курантов.

По стальным пролетам Окружного моста тяжело ухали темные эшелоны. Я всегда испытываю сочувствие к работающим в праздник людям. У газетчиков тоже часты такие дежурства. В тот вечер мои коллеги в «Известиях» несли на подпись полосы другому редактору. Праздничные вечера и ночи были у меня давно свободны.

Почти под утро появились новые гости – знаменитый актер с женой и военный в высоком чине. «Мы познакомились с генералом только что, но еще в прошлом году – на новогоднем приеме в Кремле. Прошу любить и жаловать». – Актер назвал имя и отчество военного и тем исчерпал, по всей вероятности, свои сведения о нем.

Надо отдать должное генералу, поддавшемуся на уговоры «гулять всю ночь напролет». Его, по-видимому, не очень стесняло, что он оказался в незнакомом доме. В Новый год все люди кажутся добрыми, умными и как бы приятелями. Гостю сразу понравился хозяин дома – его гренадерский рост, сочный бас, добродушное умение вести стол, поддерживая дух и азарт притомившейся компании, подобно опытному костровому, следящему, чтобы угли не потеряли жара...

Сколько промелькнуло в жизни таких вечеров, сколько слов истрчено в многозначительных разговорах, за которыми часто не было ничего, кроме малореальных желаний, пошедших ко дну под бременем житейских обстоятельств. А мы все говорим и говорим и не можем остановиться, хотя понимаем, что водопад слов и Ниагара – разные вещи.

Вот и та новогодняя «ночь слов» ушла бы, наверное, из памяти, если бы не генерал. Я не уловил, в какой момент беседа его с хозяином взлетела на верхние ноты. По обрывкам фраз можно было понять, что речь шла о смещении Хрущева.

– А я говорю, что это было потерянное, проклятое десятилетие нашей истории, – почти кричал генерал, – и ты забудь его поскорее, а то станешь просить прощения, а тебе не поверят!

Хозяин возражал гостю, тот сердился, начал застегивать китель, тормозил за плечо актера: «Поехали! Тоже мне веселая компания...»

Казалось, актер дремлет. Ладонями тонких рук он прикрыл глаза, но я видел, как у него напряглись и заходили скулы. Я знал его, взрывного и резкого, – мы учились вместе в школе-студии Художественного театра – знал, что сейчас он вспыхнет и тогда может случиться всякое.

К моему удивлению, он, поднявшись, очень спокойно, вежливо, «по системе Станиславского», проговорил: «А я, генерал, считаю это десятилетие великим. Мы с вами расходимся в оценках. Каждый человек имеет право на собственную точку зрения, а вы почему-то не разрешаете иметь ее даже нашему хозяину...»

Каким же оно было, это переломное десятилетие нашей жизни – от года 1954-го до 1964-го? Десять лет труда и жизни громадного государства, миллионы человеческих судеб в миллионах различных столкновений и обстоятельств? Отчего и зачем кто-то с удивительной настой-

чивостью изымал его из нашей памяти, будто за этими годами стояла какая-то вина? Ведь не просто же так, не по воле одного или двух, пусть самых всемогущих, людей вырезали из книг и фильмов имена и факты, цифры и сопоставления?

Молчание вокруг имени Никиты Сергеевича Хрущева было не только полным, но, я бы сказал, злым. Наивные люди полагали, что в его основе – негативная оценка партийной и государственной деятельности Хрущева. Главное, однако, в ином. Ему «ничего не простила» та административно-бюрократическая система, которую он посмел потревожить. Это она проводила своеобразную «демонстрацию силы» да и предупреждала на будущее: «Не троньте нас!»

Никакой самый совершенный компьютер не выведет бесспорной оценки тех не очень спокойных и не очень простых лет. Нелепо и само желание окунать кисть либо в черную, либо в розовую краску, воссоздавая не только те десять, но и все семьдесят лет нашей истории.

Час разумных размышлений приблизился настолько, что грех не ответить на естественное желание всех без исключения здравомыслящих людей вернуть народу его историю. Так и случится. Стараниями многих – историков, экономистов, статистиков, обществоведов, очевидцев и участников событий. В этом процессе самоосознания, будем надеяться, найдется место для объективного анализа «десятилетия Хрущева».

Минувшее опасно исказить. Мы поняли, что «забвение» и «застой» – слова одного порядка и сломать то, что стоит за ними, можно и нужно непременно. Не обойтись здесь без кипения страстей, без потерь и боли, но и обретения тоже будут. Радость и тревога соседствуют в наших днях так же, как соседствовали они в давние уже годы после XX съезда партии. С решением этого съезда связано многое в жизни моего поколения, и большинство друзей не изменили взгляд. Среди них Нателла Георгиевна Лордкипанидзе и Виктор Васильевич Сажин. Знаю, что верен дням молодости Олег Николаевич Ефремов, тот самый актер, который «прихватил» с собой к Нателле и Виктору «свадебного» генерала с кремлевского приема.

Друзья наши по-прежнему живут на Фрунзенской набережной. Выросла их дочь Наташа, у нее у самой уже взрослая дочь, стали взрослыми и три наших сына. В тот новогодний вечер они мирно спали, не ведая о споре, который вели старшие.

Возвращаясь памятью к пережитому, я не корю себя за то, что не вел подробных записей и дневников. Перед читателем – записки журналиста, чья работа – сначала в «Комсомольской правде», а затем в «Известиях» – пришлось на годы, о которых у нас долго не было принято писать.

Мои «дневники» – память и подшивки газет и журналов. В них – круг моих взглядов и интересов. Наивно было бы утверждать, что мне удастся избежать субъективных оценок, во всяком случае, буду стараться исходить из фактов.

«Факт должен въедаться в плоть газетчика, подобно шахтерской пыли, – учил молодых репортеров «Комсомолки» писатель и опытный журналист Борис Николаевич Полевой. – Во время первых выборов в Верховный Совет СССР в 1937 году, – рассказывал он, – мне дали задание написать о ленинградском рабочем, кандидате в депутаты. Поехал в Питер, долго и обстоятельно говорил с человеком. Гонял чай в его доме, познакомился с семьей, а когда очерк напечатала «Комсомольская правда», отправил экземпляр с дарственной надписью. И получил такой ответ: «Вы все верно описали, товарищ журналист, но только зачем же поставили меня перед зеркалом причесываться. Разве вы не заметили, что я лысый?» Братцы мои, – патетически восклицал Борис Николаевич, – не превращайте расческу в шанцевый инструмент нашей профессии!»

Я считаю важным соблюсти еще одно правило. Нельзя судить прошлое мерками наших нынешних представлений, забывая, что события происходили там и тогда, а не здесь и теперь, и что нет ничего бесплоднее мечтательных вздыханий: «Ах, если бы...» Когда многие из нас почувствовали, что взрывная сила XX съезда идет на убыль и что топтание на месте вот-вот приведет к шагам назад, можно было догадаться о причинах. Просматривалась целая цепь зави-

симостей. Винить ли нам себя, то есть тех, кто горой стоял за дело XX съезда, или сказать честно, что не хватило смелости отстоять свои взгляды? Отнести ли кое-что за счет проклятой привычки к конформизму, жизненным удобствам? А может быть, списать все на «волюнтаризм и субъективизм» Первого секретаря ЦК Н. С. Хрущева? Это самый простой вариант, удобный в том смысле, что каждый волен многозначительно пожимать плечами.

Убережемся от этих приемов. Теперь, когда гласность резко увеличила не только значимость, ответственность, но и поток слов, увы, легки и скоры на провозглашение истин чаще всего те, кому ни в какие времена не пришлось нести существенных потерь.

Моим сыновьям я говорю: да, мы виноваты. Мы виноваты, ибо были разобщены и в силу интеллигентских самоограничений не действовали так, как иезуитски сколоченная прослойка бюрократии. Я часто напоминаю им изречение: «Не кори тех, кто не успел или не смог сделать чего-то, не мешай тому, кто заканчивает работу, а, главное, успей сделать то, что надлежит сделать тебе самому».

Весной 1987 года, в день, когда отмечалось семидесятилетие «Известий», я был приглашен на торжественное заседание, да еще в президиум. Перерыв в двадцать лет сделал для меня это событие праздником. В тот вечер я вновь увидел тех, с кем когда-то работал. В многотиражной газете «Известинец» были помещены короткие заметки бывших сотрудников газеты, в том числе и моя. Вот что я писал:

«То, с чем читатели газеты познакомятся завтра, газетчики знают уже сегодня. Их жизнь состоит из постоянных упреждений, и поэтому тратится куда быстрее, чем хотелось бы. В этот праздничный для «Известий» срок я думаю о тех, кого нет с нами и кто вполне заслуживает того, чтобы оставаться в нашей памяти по совести и по делу. Я взялся было перечислять имена, но осекся: список был бы тяжел и длинен.

Я не работал в газете вместе с Александром Бовиным, но вполне разделяю его мысли: либо ОНИ, либо МЫ, и третьего не дано, а тем, кто думает отсидеться в запасном батальоне, не испытать счастья профессионального журналиста. Говорю об этом потому, что та «первая попытка», на которую почти тридцать лет назад вышли «известинцы», не была вовсе бесплодной. Быть может, что-то и отодвинуло нас с занятых позиций, но мы поняли, что может газета и какова сила нашей профессии, если стоять на позициях партийной принципиальности, демократизма, гласности и если мы не путаем такие понятия, как служба и служение.

Как не позавидовать тем, кто делает «Известия» сегодня! Есть опыт атак, и есть время, которое не простит вялости и промедления!»

В политике, общественной жизни движение вспять начинается иногда с малого, незаметного. Позже, когда ничего нельзя изменить, понимаешь, что это долгий отлив и по срокам, отпущенным богами, на него может не хватить и целой человеческой жизни. Примеры – в нашей собственной истории. XX съезд вернул честь и достоинство тысячам невинных жертв сталинского произвола, но им, павшим, было уже все равно. Как все равно, поставим ли мы обещанный памятник. Он ведь тоже нужен прежде всего нам, во исполнение нашей воли, утверждения идеалов.

В заключительной речи на XXII съезде КПСС Хрущев говорил: «В Президиум съезда поступили письма старых большевиков, в которых они пишут, что в период культа личности невинно погибли выдающиеся деятели партии и государства, такие верные ленинцы, как товарищи Чубарь, Косиор, Рудзутак, Постышев, Эйхе, Вознесенский, Кузнецов и другие.

Товарищи предлагают увековечить память видных деятелей партии и государства, которые стали жертвами необоснованных репрессий в период культа личности.

Мы считаем это предложение правильным. Целесообразно было бы поручить Центральному Комитету, который будет избран XXII съездом, решить этот вопрос положительно.

Может быть, следует соорудить памятник в Москве, чтобы увековечить память товарищей, ставших жертвами произвола».

И что же? Прошло много съездов после XXII, и только теперь встают по стране такие памятники. Будет он сооружен, наконец, и в Москве. Памятники опасно ставить вопреки воле народа, рано или поздно они слетают с пьедесталов.

В тот юбилейный известинский вечер литературный критик Владимир Лакшин сказал: «Нам еще повезло. Мы начали после Двадцатого и, надеюсь, успеем что-то сделать после Двадцать седьмого». И он многое уже успел. Вместе с писателем Г. Я. Баклановым ведет литературный журнал «Знамя», ставший одним из самых честных и гуманных изданий в пору обновления духовной жизни общества.

Мы знали, что все будет непросто. Есть ведь и такие, кто досадует: жаль, не успело уйти «хрущевское поколение». Они все мечтают о «сильной руке», «о сильной власти», в ней видят панацею от всех бед. Ну что ж, и это не ново. И «свадебный» генерал, быть может по недомыслию, говорил нечто подобное.

Выступил в юбилейной известинской многотиражке и Мэлор Стуруа. В 1959 году он был среди активных, как говорят, фонтанирующих идеями журналистов. Мы вместе, главный редактор и литературный сотрудник, не чинясь, бегали в типографию к талеру менять опостылевшие штампованные заголовки. Ловили любую возможность вырваться из плена серости, скуки, однообразия, разбудить интерес читателей.

Однажды Мэлор по срочному поручению редакции купил в гастрономе на улице Горького, который москвичи по-прежнему называют по имени его бывшего владельца Елисе-евским, четыре килограмма черной икры, ночью отвез в аэропорт Шереметьево, уговорил английских летчиков компании «Бритиш Эрвейс» доставить посылку в Лондон. Именно такой гонорар назначил Чарли Чаплин, когда я по телефону попросил его отдать нам для первой публикации главы из его «Автобиографии». Книга вот-вот должна была появиться в продаже, через неделю отрывки собиралась печатать лондонская «Санди таймс».

Он пояснил, что дает большой прием в связи с выходом книги, икра будет очень кстати.

«С ума сойти, – сказал Чаплин нашему собственному корреспонденту в Англии Владимиру Осипову, когда тот привез в отель огромный сверток – кастрюлю из известинской столовой, набитую льдом, который выпросили у мороженщиц, с четырьмя килограммами икры. – Эти парни поставили меня в тупик», – и отдал рукопись.

Чарли Чаплин умел держать слово.

Наш корреспондент, получив рукопись, сел за телефон и с ходу перевел, продиктовал стенографистке отличный отрывок из книги на целую газетную полосу. В тот же день мы опубликовали его. Родовались читатели необычному материалу, во врезке было рассказано и о том, как он получен; родовались и мы: «воткнули перо» западным газетам и в особенности «Санди таймс». Дело в том, что в «Известиях» незадолго до этого побывал главный редактор этой газеты и не без апломба пытался учить нас оперативности и находчивости.

У сановитого редактора, когда он увидел «Известия» с отрывком из книги Чаплина, хватило характера пошутить: он позвонил нам в редакцию и попросил разрешения прислать своего сотрудника на стажировку в Москву.

Кстати, радовался и наш бухгалтер. Эта публикация не стоила ни одной валютной копейки. Икра тогда, в 1960 году, шла по 22 рубля за килограмм. У нас. Мы не уточняли, сколько она стоила в Англии. Наверное, дороже.

Это – давние времена. Вернемся в год 1987-й. Вот что писал М. Стуруа в упоминавшейся уже юбилейной многотиражной газете «Известинец».

«Вспоминается одно редакционное бдение. Было это в начале шестидесятых годов. Главный редактор Алексей Иванович Аджубей, похожий и внешне и внутренне на шаровую мол-



нию, видимо, проснулся в тот день с чувством какой-то неудовлетворенности. На планерке поделился ею с нами.

– После XX съезда газета сделала шаг вперед, – сказал он. – Но вот идет время, и мы все чаще пробуксовываем, топчемся на месте. Давайте соберемся завтра после выхода номера и обсудим этот второй шаг. Приглашаются все. Время ограничивать не будем. Если понадобится, прозаседаем до утра. Соня будет поддерживать нас бутербродами и чаем».

Перебью Мэлора Стуруа. Буфетчица Соня, как и администратор газеты Бронислава Семеновна Жуковская, – известинские знаменитости. Главные редакторы приходили и уходили, а они оставались. Должность Соня занимала выдающуюся: она была хозяйкой спецбуфета. Он помещался под самой крышей. Вопрос о том, кто может пользоваться спецбуфетом, решала сама Соня. Ее номенклатурный нюх был безошибочным. Она пускала к себе на седьмой этаж только тех, кто делал газету и имел в ней вес, а также не имел обыкновения скрупулезно проверять счета. Бездельников и скряг Соня не любила. Эта мощная и красивая женщина играючи носила многопудовые чемоданы, набитые деликатесами того времени. Когда я, затурканный газетной текучкой, просил поджарить яичницу с колбасой, Соня в назидание мне почему-то непременно вспоминала Николая Ивановича Бухарина. Она кормила его, когда Бухарин был главным редактором «Известий» в 1935–1938 годах. Человек вне политики, Соня говорила то, что думала. Детали ее рассказов о том «запретном» времени поражали не только меня. И больше всего – явной симпатией к человеку, который на страницах наших школьных и университетских учебников был заклеен «врагом народа». Соня присаживалась к нашему столу и неспешно начинала: «А вот как мы собирали Николая Ивановича на охоту...»

Яичницы с колбасой в перечне блюд не было.

Вернусь к цитате из Мэлора Стуруа.

«Мы начали судить и рядить о том, как сделать второй шаг. Стенографистки не успевали записывать за нами новые идеи, рубрики, разработки и тому подобное. Время шло. День сменил вечер, вечер – ночь. За окнами забрезжил рассвет. И вдруг нас охватила тайная тоска: мы ощутили, что все наши, казалось бы, эвристические предложения ничего общего со вторым шагом не имеют, что по сути дела они сводятся к косметическому бегу на месте. Тоска стала превращаться в пытку. Я не выдержал и взял слово.

– Алексей Иванович, – сказал я, – наше бдение бессмысленно. Газета не может сделать второй шаг, пока его не сделает партия.

Воцарилась гробовая тишина. Взоры всех обратились к главному редактору. Все ждали, что шаровая молния взорвется и поразит дракона-святотатца. Но ничего похожего на галактические протуберанцы не произошло.

– Давайте расходиться, Мэлор Георгиевич прав, – сказал Аджубей тихим и усталым голосом...»

В октябрьские дни 1964 года, когда жизнь нашей семьи круто переменялась, мы условились с женой не отыскивать в бесплодных разговорах правых и виноватых, не записывать в памяти обид и нелепиц. Хорошо помню, что уже в один из первых дней после отставки ее отца Рада сказала: «Ты знаешь, это, конечно, горько и незаслуженно, но, может быть, и к лучшему».

Это «к лучшему» вбирало в себя надежду на то, что жизнь – в широком, общественном смысле слова – вновь обретет исчезавший динамизм и последовательность. Не только мы, многие надеялись, что пришел срок «второго шага».

Теперь, когда позади почти четверть века, возвращение к пережитому естественно по многим причинам. Плохо, когда незнание выносит скорый суд. Те самые десять лет имели, конечно, свою предысторию.

## Снова в Москве

Заканчивался 1949 год. Месяца через два студенты 3-го курса отделения журналистики МГУ, сдав очередную сессию, должны были начать практику в газетах. Мы с Радой готовились к экзаменам в московской квартире ее отца Никиты Сергеевича Хрущева. Он тогда работал на Украине.

Дом на улице Грановского, известный московским старожилам как 5-й дом Советов, прежде принадлежал графам Шереметевым. Был он построен по проекту архитектора Александра Мейснера в конце XIX века. До революции в этом аляповатом П-образном здании с небольшим въездным сквериком снимала квартиры богатая публика.

В 20–30-х годах дом заселили члены правительства, крупные военные и партийные деятели. Получил здесь квартиру и Н. С. Хрущев – переехал из «дома на набережной». В 1938 году Никиту Сергеевича избрали кандидатом в члены Политбюро и направили на Украину Первым секретарем ЦК. Приезжая в Москву в командировки – из Киева ли, с фронта во время войны, – он жил здесь. Полупустая, обставленная в стиле тех лет квартира – без ковров, горок, хрустальных люстр, без картин и гравюр. Настольные лампы на гранитных постаментах с колпаками из матового стекла и оторочкой «под бронзу» напоминали большие грибы. Тяжелая, скучная мебель – стулья и диваны в полотняных чехлах, кровати, столы, книжные шкафы, тумбочки. По-видимому, так же было и в других квартирах этого дома, поскольку на то существовал неписанный стандарт. Тогда еще высокопоставленные лица не занимались «интерьером».

Позже я понял происхождение вкусов того времени. В такой «казенной» обстановке жил Сталин. На юге, в Москве, в Подмосковье, на квартире и дачах все у него было точно таким же. Дерево на полу, потолке, стенах. Минимум мебели, никаких картин. Мебель изготавливалась на одной фабрике по шаблону.

Хозяева квартир – во всяком случае, так было у Хрущевых – не считали себя собственниками домашней утвари. Там, где они жили, им фактически ничего не принадлежало. На простынях и полотенцах стояли синие клейма «5-й дом Советов» либо другие учрежденческие знаки. К столам, стульям, диванам были привинчены металлические инвентарные жетоны. Время от времени в квартире появлялись строгие мужчины, чтобы сверить инвентарные номера с записями в тетрадях, как будто кто-нибудь из жильцов мог покуситься на это добро.

В квартире Хрущева было особенно гулко и пусто. Большая семья постоянно жила в Киеве. Никита Сергеевич приезжал в Москву нечасто и вовсе не обращал внимания на мебель и обстановку.

В тот поздний вечер, когда мы с женой дочитывали конспекты, в прихожей раздались голоса, кто-то прошел в комнаты. Оказалось, приехал Никита Сергеевич, с ним Ванда Львовна Василевская и Александр Евдокимович Корнейчук. Рада пошла на кухню помочь домашней работнице, и вскоре все сидели за столом. Перебивать разговоры старших не полагалось, и лишь по ходу беседы мы узнали, что Никита Сергеевич только что был у Сталина. Возвращаясь домой, прихватил из гостиницы приехавших по своим делам в Москву Василевскую и Корнейчука.

В тот вечер Хрущеву, видимо, были просто необходимы собеседники, которые поймут его душевное состояние. Он сказал, что едет в Киев сдавать дела, так как теперь будет работать секретарем Московского обкома партии.

Ванда Львовна заплакала: «На Украине вас будет очень не хватать, Никита Сергеевич». Слова эти тронули Хрущева. Он знал, что Ванда Львовна говорит искренне. Польская писательница, интернационалистка. После оккупации Варшавы фашистами жила на Украине. В годы войны ее произведения часто печатались в газетах, журналах, с Хрущевым она встреча-

лась на фронте. Повесть Василевской «Радуга», вышедшая в 1942 году, была награждена Сталинской премией, ее называли сражающейся книгой.

И Василевская, и Корнейчук дорожили расположением Хрущева. Александр Евдокимович был известным драматургом: его пьесы «Гибель эскадры», «Платон Кречет», «Фронт» шли по всей стране. Был момент, когда Никита Сергеевич решительно защитил Корнейчука, автора либретто к опере Данькевича «Богдан Хмельницкий». Этой оперой открывалась в Москве летом 1951 года Декада украинской литературы и искусства. «Правда» напечатала статью, в которой критиковались «националистические» мотивы спектакля. Обвинение было резким и по тому времени опасным, ведь совсем недавно вышло постановление ЦК по музыке и литературе: «ждановский каток» прошелся по Ахматовой, Зощенко, Шостаковичу. Позже Хрущев рассказывал, что ему с большим трудом удалось погасить гнев Сталина. Автору разрешили самому внести необходимые поправки. Опера «Богдан Хмельницкий» не продолжила список вычеркнутых из жизни произведений литературы и музыки.

Ванда Львовна Василевская умерла в июле 1964 и не узнала о смещении Хрущева. Неизвестно, что думал по этому поводу Александр Корнейчук, но во всяком случае, когда Никита Сергеевич скончался, Нина Петровна не получила от Корнейчука даже коротких слов соболезнования.

Знакомая тема. Как писал Илья Эренбург, «телефон вдруг замолчал...». Медленно, незаметно начинается отлив, и вот уже там, где плескалась вода, сухая земля...

Что стояло за неожиданным решением Сталина вернуть Хрущева в Москву? Теперь никто этого не узнает. Как никто не узнает, о чем говорили между собой эти два человека.

Однако эта «кадровая рокировка», если и выглядела импровизацией, совершалась с учетом следующих ходов. Казалось, Сталину целесообразнее держать Хрущева на Украине: дела там набирали темп, республика давала стране все больше хлеба, восстанавливался Донбасс, росли энергетические мощности, отстраивались разрушенные города. Хрущев пользовался на Украине авторитетом.

Сталин знал это и все-таки срочно вызвал его в Москву. Здесь уже сняли первого секретаря МК и МГК, председателя Моссовета Г. М. Попова. Говорили, что Сталина насторожило властолюбие Попова, как будто тот сам определил себе все три должности. Думаю, что Хрущев трезво оценивал сложившуюся ситуацию. Его не могло не беспокоить нарастание напряженности и в партии, и в стране в связи с «ленинградским делом». Секретарь ЦК Маленков и министр госбезопасности Абакумов по поручению Сталина жестоко громили ленинградские кадры.

Теперь известно, как и по чьей воле возникло это «дело». Аноним сообщил в ЦК о неблагоприятном поступке председателя счетной комиссии ленинградской областной и городской партийной конференции, проходившей в декабре 1948 года, были скрыты точные итоги голосования: коммунистам объявили, что руководители парторганизаций города и области избраны единогласно, а на самом деле это было не так. Против первого секретаря обкома П. С. Попкова – 4 голоса, Г. Ф. Бадаева – 2, Я. Ф. Капустина – 15, председателя Ленгорсовета П. Г. Лазутина – 2.

Что и говорить, обман подобного рода – партийный проступок, но бурная реакция Сталина, как станет ясно позже, шла от иного. Сталин никогда не любил этот город. Не здесь, не в этом городе отстоял он право считать себя вождем партии, не здесь встречал подобострастное поклонение. Он помнил о зиновьевской оппозиции, об убийстве Кирова...

Избранный после войны секретарем ЦК партии А. А. Кузнецов, ленинградец, герой блокадных дней, слишком быстро набирал силу и мог потеснить Берия и Маленкова, зорко следивших за каждым потенциальным соперником. Ленинградцем был и Председатель Госплана Н. А. Вознесенский. Председатель Совета Министров РСФСР М. И. Родионов поддерживал их. Не слишком ли велико влияние ленинградцев в Москве?

И вот повод нашелся. Маленков и Абакумов сделали беспроницаемый ход. Они предугадывали желания Сталина, которые совпадали с их собственными целями.

Репрессии начались в 1949 году, а уже в сентябре 1950-го выездная сессия Военной коллегии Верховного суда СССР, рассмотрев дело А. А. Кузнецова, Н. А. Вознесенского, М. И. Родионова, П. С. Попкова, Я. Ф. Капустина, П. Г. Лазутина по обвинению в измене Родине, контрреволюционном вредительстве, участии в антисоветской группе, приговорила их к высшей мере наказания. В то время в СССР смертная казнь была отменена, но, пока велось следствие, ее ввели снова.

На суде, прощаясь с живыми, А. А. Кузнецов сказал: «Я был большевиком и останусь им, какой бы приговор мне ни вынесли, история нас оправдает». Как часто в наши дни возникают из небытия такие трагические, исполненные веры слова! И можно ли простить тех, кто во имя своих карьерных целей угодливо готовил для мнительного и мстительного вождя списки «заговорщиков»? История не только оправдывает, но и обвиняет.

Я часто видел Г. М. Маленкова. Разве мог подумать тогда, что этот мягкий, обходительный человек, любящий семьянин и отец, способен к жуткой, безжалостной интриге, которая унесет жизни многих партийных и советских работников, что в ссылку будут отправлены их жены и дети: им судьба тоже уготовит участь «врагов народа» по родственным признакам.

А министр госбезопасности Абакумов? Получив указание или даже намек на чье-то мнение, он готов был на любую грязную работу. А вот в смертный час, когда справедливо приговорили его к высшей мере наказания, он попросил во имя гуманности хотя бы взглянуть на своего новорожденного ребенка...

В тот вечер, когда Хрущев угощал чаем Василевскую и Корнейчука, заметно было, что он нервничал; уговаривал гостей не торопиться. Наверное, не хотел оставаться без собеседников. Дело для него состояло не только в том, как сложатся отношения со Сталиным: тут Хрущев, по-видимому, рассчитывал на поддержку. Но ведь он уехал из Москвы в 1938 году, бывал здесь только наездами и вот теперь врывается в плотные ряды соратников вождя. Каждый из них внимательно и ревниво следил за другими, за тем, как и сколько раз обращался к кому-либо из них Сталин, кого звал или не звал на вечерние обеды-заседания, приглашал на отдых, как и над кем подшучивал в благодушном расположении духа.

Все было расписано очень точно. Даже где, когда отдыхать семьям руководителей. Звонил генерал Власик, начальник охраны Сталина, назначал место отдыха. Так распорядился Сталин.

Летом 1949 года Нина Петровна сказала: «Едем в Ливадию». Огромный царский дворец считался тогда сталинской дачей. Во флигеле для свиты отдыхала семья Хрущева, во дворце – Светлана Сталина и ее второй муж Юрий Жданов. Никакого общения между нами не было. Семейные знакомства не поощрялись. Мало ли что могло случиться завтра.

У всех, кто был близок к «хозяину», соприкасался с ним, он все больше вызывал чувство панического ужаса. Его действия, решения, умозаключения порой не находили каких-либо разумных объяснений. Хрущев как-то вспомнил такой эпизод. Во время одного из застольных заседаний Сталин встал: «Пойду попрошу у Мао Цзэдуна 20 миллионов долларов взаймы», – и вышел. В ту пору между Москвой и Пекином существовала прямая правительственная связь, и можно себе представить, как десятки людей спешили соединить две братские столицы, как напряглись переводчики, получившие указание переводить слова Сталина и ответы Мао Цзэдуна.

Все в молчании ждали. Сталин вернулся. Медленно отодвинул стул. Не любил, чтобы ему помогали. Сел. Сказал: «Деньги дает, но брать не будем!»

...Хрущеву было что принять в расчет, вновь возвращаясь в Москву. Он только казался простоватым человеком. Случалось, наигрывал простодушие. Но я часто видел, какими холодными, отчужденными становятся в гневе его маленькие темные глаза.

Он знал правила игры, жестокие ее варианты. Сталин держал всех в напряжении. И Хрущев тоже. В начале 1947 года вождь сместил его с поста первого секретаря Компартии Украины, но из Киева не убрал, назначил Председателем Совета Министров республики. «Первым» был прислан Л. М. Каганович. Перемещение последовало после того, как Хрущев доложил Сталину, что на Украине тяжелейший голод, есть случаи людоедства, вымирают села, республике крайне важно получить немедленную помощь. «Положил телефонную трубку, – вспомнил Никита Сергеевич, – думал, все. Сталин ничего мне не сказал, я только слышал его тяжелое дыхание».

Украина получила некоторое количество зерна. Новый звонок Сталина – и новая накачка. Сталину стало известно, что Евгений Оскарович Патон, знаменитый ученый, инженер, демонстративно покинул одно из многочисленных совещаний, которые для «наведения порядка» проводил Каганович, да еще хлопнул дверь.

«Ваши националисты никак не успокоятся», – сердито проговорил Сталин и повесил трубку.

Никита Сергеевич вызвал Евгения Оскаровича, попросил рассказать подробности. Совещание касалось сельских проблем, и, послушав с полчаса выступавших, Патон понял, что ему здесь присутствовать необязательно. «Вы же знаете, Никита Сергеевич, я не терплю пустой траты времени, а что касается хлопанья дверьми, так это потому, что я глуховат».

Хрущев доложил Сталину, как было дело. Сталин выслушал, ни о чем не переспрашивая. Верховный Главнокомандующий хорошо знал Патона, называл его «великим сварщиком». Во время войны Патон наладил серийное производство танков Т-34. Никто в мире не умел тогда сваривать стальную броню.

В конце 1947 года Кагановича отозвали в Москву, и Хрущев занял прежний пост первого секретаря ЦК Компартии Украины.

И вот теперь, в декабре 1949 года, он снова в Москве.

Через несколько дней в газетах было объявлено, что Н. С. Хрущев избран секретарем ЦК и первым секретарем МК партии. Он должен был осуществлять общее руководство областью и городом. Текущими делами горкома занимался секретарь МГК Иван Иванович Румянцев, авиационный инженер, молодой еще человек, обаятельный, энергичный. С Никитой Сергеевичем у них были хорошие отношения. Городские и областные проблемы решались совместно. Никита Сергеевич по воскресеньям со своей дачи в Огарево часто уезжал в дом отдыха МК и там прогуливался с товарищами. На прогулку отправлялись семьями, с детьми и женами; шутили, смеялись, случалось, возникал и деловой разговор.

И. И. Румянцев исчез мгновенно. Могу только утверждать, что его исчезновение не связано было с отношением к нему Хрущева, а решалось где-то выше. Всякое могло быть тогда при таких внезапных акциях. Ивану Ивановичу повезло. Он вернулся директором на авиационный завод, где работал до начала партийной карьеры. Повторения «ленинградского дела» в Москве не произошло.

«Ленинградское дело» было, конечно, звеном сталинской жестокости, жажды репрессий, свертывания тенденций свободомыслия и демократизации общественной жизни, возникших в связи с победой в Великой Отечественной войне. Сталин, видимо, готовился снять еще один слой «чересчур самоуверенных». «Закручивание гаек» по всему фронту общественной жизни, загадочные убийства (например, знаменитого еврейского актера Михоэлса), организация «мингрельского дела», когда пали тысячи невинных партийных работников Закавказья, идеологический прессинг Жданова. Вот что ждало страну и народ после великой Победы над фашизмом...

В тот год, о котором идет речь, наступала середина XX века. Ощущение рубежа возникло у меня еще и потому, что в конце 1949-го я единственный раз видел Сталина доста-

точно близко, не из студенческой колонны на демонстрации, а в Большом театре, где шло торжественное заседание, посвященное его семидесятилетию.

Сталин сидел в центре длинного, во всю сцену, стола. Рядом – Мао Цзэдун. Хрущев как секретарь МК и распорядитель вечера – слева от юбиляра. Казалось, Сталин совсем не реагирует на потоки приветственных слов, которые лились с трибуны.

Юбилейный вечер шел много часов. На стол президиума ложились все новые букеты, казавшиеся особенно яркими и нарядными в этот зимний месяц. Наступил момент, когда фигура Сталина скрылась за холмом из цветов, я спросил жену: «Почему Никита Сергеевич не отодвинет цветы?» – «Но он же его не просит», – ответила Рада. Может быть, Сталина устраивала такая необычная ширма, отделявшая его от зала?

Наконец речи кончились. Все встали, и овация, но без выкриков и скандирования, как и полагалось при таком составе публики, долго гремела в зале. Встал и Сталин. Невысокий щуплый человек повернулся спиной к залу, чтобы уйти, – и тут меня поразил большой круг лысины. Знаменитый посеребренный бобрик, который с такой тщательностью выписывали художники и «прорабатывали» на фотографиях ретушеры, оказался редким венчиком. Я ничего не сказал Раде, наверное, от испуга, что мне стало известно нечто сверхсекретное. Сталин медленно уходил со сцены, не останавливаясь и не разговаривая с почтительно расступившимися людьми, прижав к боку согнутую в локте левую руку. Говорили, что она у него подсыхала, укорачивалась, и он инстинктивно сгибал ее, чтобы на это не особенно обращали внимание.

Странная жалость пронзила меня тогда. Он на миг предстал обыкновенным человеком, как все. Да и много ли нам известно о нем как о человеке даже сегодня? Долго мы довольствовались самым минимумом. Ну, например, тем, что он любил набивать трубку табаком из папирос «Герцеговина флор»...

Дочь Сталина Светлана Иосифовна написала в своей книге «Двадцать писем к другу» об отце с достаточной степенью откровенности. Но все ли?

У этой книги странная и путаная судьба, как путана и трагична она и у самой Светланы. Не берусь ни винить, ни оправдывать эту женщину, ей, по-видимому, тяжело и перед собственным судом. Каким оказался бы гнев Сталина, если б он смог предположить судьбу дочери! Да и всей семьи... Жена покончила жизнь самоубийством, сын загубил себя пьянством, дочь покинула Родину. Страшно.

Много позже узнали мы подробности семейной хроники Сталина. Бегство Светланы за границу, сказать мягче, ее невозвращение из Индии, куда летом 1967 года она отправилась захоронить урну своего третьего мужа, индийского ученого и журналиста Раджи Бриджа Сингха, поразило общественное мнение. Никита Сергеевич, пока об этом не объявили официально, отказывался верить слухам. Заметка телеграфного агентства коротко сообщала, что Светлана Иосифовна Аллилуева пожелала продлить сроки пребывания за границей. Это ее личное дело, – говорилось в сообщении. Дмитрий Петрович Горюнов, Генеральный директор ТАСС, рассказывал, что ему удалось «пробить» эти несколько строк для печати с большим трудом. Наверху не хотели никаких сообщений.

Светлана уезжала в Индию по личному разрешению Алексея Николаевича Косыгина, так что, по-видимому, Председателю Совета Министров пришлось испытать на себе раздражение Брежнева. История эта мало украшала престиж государства, казалась необъяснимой. Имя Сталина в брежневскую пору поминалось все чаще и чаще...

Хрущев вспоминал свои встречи со Светланой и Василием Сталиным. Он принимал их после смерти отца. Знал, что нелегко брату и сестре определить новый образ жизни. Светлана стойко отнеслась к перемене в своей судьбе. Иное дело Василий. На фоне непрерывных пьянок после похорон Сталина у него появилась маниакальная жажда мести, он угрожал какими-то разоблачениями. По Москве поползли слухи, что Сталина отравили.

Никита Сергеевич пытался усовестить Василия, помочь ему. Предложил пойти учиться в академию, сохранив звание генерал-лейтенанта. На какое-то время Василий успокоился. Светлана поблагодарила Хрущева за брата.

В том, как сложилась жизнь членов этой семьи, не было особой неожиданности для Хрущева. Он помнил Василия безнадзорным мальчиком, пропадавшим целыми днями в гараже Кремля. Шоферы и механики отмечали его любовь к технике, желание копаться в моторах. Мальчиком научился управлять автомобилем.

В первые годы после самоубийства жены Сталин заботливо относился к детям, они чувствовали его любовь. Позже стали раздражать. Он грубо вмешивался в их жизнь. Развел дочь с мужем – Григорием Морозом. Конечно, ему не хотелось, чтобы этот акт рассматривался общественностью как антисемитский, но многие поняли истинную причину. Знали, чувствовали настроения Сталина на этот счет. Детей видел редко, приезжали они только с его разрешения; внуков – считанные разы. Семья для него ушла в прошлое...

После разговора с Хрущевым Василий крепился недолго. Вновь запил, бросил академию. Никакие предупреждения уже не действовали. Его отослали в Казань. Там все и пришло к финалу. Очередной приступ белой горячки закончился трагически. Василий умер, не дожив до пятидесяти лет.

На Новодевичьем кладбище неподалеку от памятника Надежде Сергеевне Аллилуевой лежит серая бетонная плита с надписью: «Василий Васильевич Сталин, 1949–1972». Я не знаю, от которой из жен Василия родился этот, так рано умерший мальчик. Помню, в 1949 году одновременно с нами в Ливадии отдыхала Екатерина Васильева, тогдашняя жена Василия, известная пловчиха, рекордсменка. Одна уходила к кромке пляжа, уплывала далеко в море. Чекист из охраны бросался в лодку, сопровождал на расстоянии, подстраховывал бесстрашную пловчиху.

Подробности невозвращения Светланы из Индии мы с женой узнали случайно. В тот год вместе с нашими мальчиками проводили отпуск в Эстонии, в курортном городе Пярну. Золотисто-белые дюны пярнуского пляжа обрамлены плотной стеной соснового леса. Мелкий залив в ту пору был чист, река выносила в него мягкую, с коричневым отливом воду, настоящую на хвое.

В компании друзей мы познакомились с сотрудником советского посольства в Индии, очевидцем этих событий. Коротко суть сводилась к тому, привычному для нашей жизни обстоятельству, когда грубость, запреты, нелепые требования вынудили Светлану к протесту и, возможно, к необдуманному решению.

Светлана жила в Индии уже несколько месяцев, навестила родные места мужа, подружилась с его семьей. Виза кончилась. Попросила продлить ее. Получила отказ и категорическое требование о немедленном возвращении. Посол Бенедиктов был смущен, передавая Светлане указания Москвы, но ничего поделать не мог.

Однажды вечером Светлана ушла из посольской квартиры и не вернулась.

Началась ее скитальческая жизнь.

Посол Бенедиктов был отправлен в отставку. Председателя КГБ Семичастного отстранили от должности и послали в Киев заместителем Председателя Совета Министров Украины.

Светлана нашла прибежище в Америке. Вновь вышла замуж. Родила дочь. Клялась в любви к обетованной земле, а потом вдруг вернулась в Москву.

Здесь ее ждали ставшие взрослыми сын и дочь от первых браков.

Максимум внимания проявляли к ней в Грузии, в Тбилиси, где она жила со своей четырнадцатилетней дочерью Ольгой. Хорошая пенсия, квартира, преподаватель русского языка для девочки. Говорят, она выучила его очень быстро.

Жизнь вроде бы вошла в берега. А потом вновь, уже в 1986 году, эта беспокойная натура сорвалась, взвинтив до предела окружавших ее близких и друзей, и улетела в Америку...

У нас о ней не вспоминают. Что человек? Песчинка. А я помню ее. Красивую, с яркими рыже-золотыми волосами, умным спокойным взглядом больших серых глаз. В одной из своих книг она по-доброму помянула мою маму, нашла какие-то слова для меня, пожалев за несложившуюся судьбу. Но тут она ошиблась.

Все это я вспоминаю теперь, и пережитое, естественно, видится с иных жизненных рубежей. Как и наши товарищи по университету, мы мало знали и мало интересовались в ту пору, как и что происходит там, «наверху». Круг интересов очерчивался строго, болтовня и сплетни, которыми так грешат в наши дни, считались недопустимыми, да и были занятием небезопасным. Комсомольские организации действовали по строго заведенному порядку, выполняли поступающие к ним директивы, ограничиваясь главной заботой – учением, устройством быта студентов и тем минимумом развлекательных мероприятий, которые сосредоточивались в клубе МГУ на улице Герцена.

Студенты отделения журналистики (тогда существовало только отделение, и наш набор – 30 человек, в большинстве прошедших фронт, – был первым) устраивали иногда собственные небольшие вечера на Стромынке, в тесных комнатухах студенческого общежития. Танцевали под патефон, пели и, конечно, читали друг другу стихи собственного сочинения. Вряд ли какая-нибудь другая человеческая обитель, кроме Московского университета того времени, собирала под свой кров такое количество поэтов. Писали стихи филологи и физики, юристы и историки. Конечно, в общежитии теснота, скученность, бытовая неустроенность, шум и гам, всепроникающие запахи кухни, и все же молодое товарищество Стромынки навсегда осталось в нашей памяти.

Мы держались не просто дружно, хорошо знали друг друга. Костяк нашей группы – фронтовики: Сергей Стыкалин, Владимир Парамонов, Авенир Захаров, Владимир Петушков, Юрий Берников, Михаил Иванов. Староста нашей группы – фронтовичка Клавдия Брунова – любые сложности во взаимоотношениях с деканатом разрешала с решительностью офицера запаса.

У наших товарищей по-разному складывались годы студенчества. Михаила Иванова заставили в 1948 году сдать югославские ордена, полученные им за бои под Белградом, и, конечно, он попал в разряд не слишком благонадежных. Одна из лучших студенток, Рая Ученнова, девочкой была два года на оккупированной территории в Одессе, и ее лишили права получать повышенную Сталинскую стипендию. Елена Иванова жила во время войны в Америке, где ее отец занимался закупкой транспортного оборудования, и это тоже вызывало настороженное отношение. Феликс Тамаркин, мягкий, милый человек, воспитывался в семье известного революционера Карпинского, и мы даже не знали в ту пору, что отца его репрессировали. Только сейчас понимаешь, под каким дамокловым мечом жил он все годы ученья. И почему не получил работу после окончания факультета...

Так что при всем нашем молодом оптимизме сложности жизни тех лет не миновали многих.

Смещение секретаря МК и председателя Моссовета Попова нас особенно не тронуло. Но вслед за этим в комсомольских организациях начали «прорабатывать» порочные методы руководства тогдашнего секретаря МГК комсомола Красавченко. Правда, в чем его обвиняли, я уже не помню.

Надо сказать, что молодежь отнюдь не была безразлична к общественной жизни. Рассказывали, что смещение секретаря МК комсомола Николая Сизова проходило не очень гладко. Комсомольская конференция не отдавала его, не желала переизбирать и требовала более убедительных доводов. Пришлось Никите Сергеевичу Хрущеву ехать на конференцию и по-отечески внушать заупрямившимся комсомольцам, что раз партия говорит «надо» – значит, надо.

Я вспоминаю этих людей – Попова, Румянцева, Красавченко, Сизова, – чтобы подчеркнуть нежелание Хрущева идти на поводу мнительности Сталина, заваривать в Москве поли-



тическую кашу. Думаю, что такая позиция давалась Никите Сергеевичу непросто, в ней была большая доля риска. Не только Сталин, но и другие могли в любой момент воспользоваться «либерализмом» Хрущева, обвинить его в заигрывании с кадрами, настроить против него вождя.

Уже после смерти Сталина, когда встал вопрос о выдвижении молодых партийных кадров на высокие посты в органы внутренних дел и государственной безопасности, Хрущев одобрительно отнесся к предложению назначить Сизова начальником московской милиции, а затем и заместителем председателя Моссовета. Развеивалась легенда о личной неприязни Никиты Сергеевича к Сизову по прежним комсомольским делам. Легенды о разного рода приязнях и неприязнях, мнениях и соображениях Хрущева чаще всего оказывались напраслиной и подбрасывались для обсуждения теми, кто умело использует политические сплетни в своих целях.

В повести «Зубр» Даниил Гранин рассказывает, как таким же образом – со ссылкой на «мнение» Хрущева – Петру Леонидовичу Капице запретили пригласить на семинар в его институт Тимофеева-Ресовского. Нажим на П. Л. Капицу был таким сильным, что иной на его месте сдался бы. Но «консультанты» не знали характера Капицы и меры его человеческой и гражданской независимости и достоинства. Он позвонил Хрущеву и стал доказывать целесообразность выступления Тимофеева-Ресовского.

Хрущев ответил, что это право Петра Леонидовича – приглашать в институт, кого он считает нужным, и проводить семинары с любым докладчиком. Стало ясно, что Никита Сергеевич и слыхом не слыхал о Тимофееве-Ресовском, о его предполагавшемся выступлении у Капицы и тем более не запрещал его. Факт, приведенный Граниным, документален. Когда в конце 60-х годов в доме у академика Олега Георгиевича Газенко мы с женой познакомились с Тимофеевым-Ресовским, он сам рассказал об этом эпизоде.

Как бы в подтверждение того, что наука живет своей собственной жизнью и над ней не властны никакие, даже самые высокопоставленные лица, Тимофеев-Ресовский вспомнил и свои молодые годы. Дело было в Дании. У Нильса Бора, где он тогда работал, было обыкновение устраивать раз в неделю несколько церемонный фэйф о'клок с точно выдержанным ритуалом. Никто не имел права опаздывать, а до первой чашки чая не велось никаких разговоров. Тимофеева-Ресовского предупредили на этот счет, и уже без пяти пять он сидел на отведенном ему месте. Оно оказалось за столом Нильса Бора. Минуты через три после того, как в абсолютной тишине началось чаепитие, дверь со скрипом отворилась, и маленький человек в тяжелых прогулочных ботинках, смущенно пригнув голову, прошмыгнул к свободному месту. Нильс Бор с гневом оглядел опоздавшего и демонстративно отвернулся. «Кто это?» – спросил Тимофеев-Ресовский хозяина. «Это король, – раздраженно ответил Бор, – вечно он опаздывает, я предупрежу его в последний раз и больше не стану приглашать».

В начале 1950 года в Москву переехала с семьей Нина Петровна. Дом на улице Грановского ожил. Младшая сестра жены, Лена, ее брат Сергей, Юля – дочь старшего сына Никиты Сергеевича, Леонида, погибшего под Смоленском в воздушном бою, – все школьники, и все требовали внимания. Нина Петровна вела дом не без некоторой назидательности. Ровная со всеми домочадцами, она создавала строгую атмосферу, которая подкреплялась и сдержанностью самого хозяина. Никакого сюсюканья. Младшие видели отца практически только по воскресеньям, да и то он предпочитал проводить свободный день где-нибудь в колхозе, на стройке или у своих знакомых: профессора Лорха (выведенные им сорта картофеля были лучшими в стране), селекционера сирени Колесникова, садовода-мичуринца Лесничего. Люди сельского труда, «волшебники земли» вызывали у Никиты Сергеевича чувство уважения. Он всегда ценил яркие способности, таланты. Поддерживал их, увлекался. От этого и его вера в чудо. Яблоки Лесничего, сирень Колесникова, торфокомпост Лысенко, мульчирование почв, предложенное учеными Тимирязевской академии, гидропоника, торфоперегнойные

горшочки, квадратно-гнездовой способ посадки картофеля, позже – кукуруза, убежденность в спасительной силе идей Прянишникова о поддержании плодородия земли неорганическими удобрениями и многое, многое другое постоянно завораживало его. Если учесть его деятельную натуру, необычайный напор, с которым он брался за дело, то естественно, что не все и не всегда оказывалось приемлемым, не всегда вело к той пользе, на которую он рассчитывал, но берусь утверждать: единственной его целью было улучшить жизнь.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.